

1

Лето плывет над тихими зелеными улицами Хаддама, словно сладкий бальзам, изливаемый беспечным и томным богом, и весь мир настраивается в тон своим таинственным гимнам. Ранним утром тенистые лужайки расстилаются спокойно и влажно. Снаружи, с мирной утренней Кливленд-стрит, до меня доносится топоток одинокого бегуна, спускающегося мимо моего дома по склону холма к Тафт-лейн, чтобы пересечь ее и выскочить на сырую траву Хорового колледжа. В негритянском районе сидят на верандах мужчины с подвернутыми выше носков штанинами, они попивают кофе, наслаждаясь успокоительным, понемногу крепнущим теплом. Помехи браку (4–6 классы) покидают свои спальни в средней школе, оцепенелые, с сонными глазами, желающие вернуться в постель. А между тем на установленной посреди зеленого футбольного поля платформе начинается, убыстряя темп, маршировать наш студенческий оркестр, ибо до 4-го осталось только два дня. «Бум-Хаддам, бум-Хаддам, бум-бум-бу-бум, Хаддам-Хаддам, всем наподам! Бум-бум-бу-бум!»

Я знаю, небо над побережьем повсюду подернуто дымкой. Близится жара, мои ноздри улавливают ее металлический запах. На горизонте собираются над горами первые тучи летней грозы, а ведь там, где живут *они*, жарче, чем у нас. С далекой магистрали «Амтрак» доносится, если дует правильный ветерок, стук колес — это мчит в Филадельфию

«Особый коммерческий». И с тем же ветерком приплывает, одолев мили и мили, соленый запах моря и смешивается с ароматами раскидистых рододендронов и последних стойких азалий лета.

Но на моей улице, в первом тенистом квартале Кливленд, царит сладостная тишина. Слышно лишь, как где-то по соседству кто-то усердно стучит по подъездной дорожке мячом: скрип кожи... дыхание... смешок... кашель... «Отлично. Вот тааак». Совсем не громко. В двух домах от моего, перед дверью Замбросов, заканчивает тихий перекур бригада дорожных рабочих; скоро их механизмы снова залязгают и снова поднимется пыль. Этим летом у нас обновляют дорожное покрытие, тянут новую «магистраль», заново обкладывают дерном «нейтраль», ставят новый бордюрный камень — и все это на доллары, которые мы с гордостью отдаем налоговой службе. Рабочие, уроженцы Кабо-Верде и лукавые гондурасцы, набраны в двух городках победнее, расположенных к северу от нас, в Сарджентсвилле и Литтл-Йорке. Молча глядя перед собой, они сидят рядом со своими желтыми тракторами-погрузчиками, трамбователями и канавокопателями, их глянцевые личные автомобили — приземистые «камаро» и «шеви» — стоят за углом, подальше от пыли, немного позже их накроет тень.

И неожиданно начинают звонить колокола Святого Льва: дон, дон, дон, дон, дон, дон, а следом слышится сладостный, веселый, наставительный утренний призыв далекой церкви Уэсли: «Пробудись, ты, что будешь спасен, пробудись, сбрось с души твоей сон».

Начало хорошее, однако не так уж здесь все и кошерно. (А когда что-нибудь бывает абсолютно кошерно?)

Вот, скажем, меня, Фрэнка Баскомба, в конце апреля оглоушили на Кулидж-стрит. Я воодушевленно топал по ней к дому после того, как закрылся при наступлении сумерек наш риелторский офис, ощущение одержанной победы наполняло легкостью мой шаг, я надеялся поспеть к вечерним новостям, а из-под мышки у меня торчала бутылка «Редерера» — подарок благодарного владельца дома, которому я помог сделать хорошие деньги. Трое молодых парней, одного — азиата — я вроде бы где-то видел, но имя его назвать

впоследствии не смог, зигзагами неслись на велосипедах по тротуару, один из них огрел меня по голове здоровенной бутылкой «коки», и они укатили, регоча. Ничего у меня не отняли, ничего мне не сломали, всего лишь сбили с ног, и я минут десять просидел как дурак на траве, и никто меня в кружившем перед глазами сумраке не замечал.

Позже, в начале мая, дом Замбросов и еще один обчистили дважды за одну неделю (в первый раз грабители кое-что прозевали — ну и вернулись).

А потом, тоже в мае, единственного у нас чернокожего агента, Клэр Дивэйн, женщину, с которой меня два года назад связывали недолгие, но пылкие «отношения», к общему нашему потрясению, убили близ Хайтстауна, на Грейт-Вудс-роуд, в кооперативной квартире, которую она собиралась показать возможным покупателям. Связали, изнасиловали и зарезали. Следов никаких не осталось, только у входа в квартиру лежал на паркете розовый клейкий листок с записью, сделанной ее петлистым почерком: «Семья Лютер. Только что начали осмотр. Дом середины 1890-х. 3 часа дня. Не забыть ключ. Обед с Эдди». Эдди был ее женихом.

Плюс падение цен на недвижимость гуляет ныне меж деревьями, как туман без запаха и цвета, оседающий в тихом воздухе, и все мы им дышим, все ощущаем его, хотя последние наши достижения, коим полагалось бы цену повышать, — новые патрульные машины, новые пешеходные переходы, опрятно подстриженные деревья, упрятанные под землю электрокабели, подновленная оркестровая раковина, планы парада 4 июля — делают все возможное, чтобы уgomонить наши тревоги, убедить, что это и не тревоги вовсе или, по крайней мере, не наши, а общие, то есть ничьи, а наша задача — не сбиваться с верного пути, держать оборону и помнить о цикличности всего сущего, ведь это и есть главные достоинства нашей страны, и думать как-то иначе значит отступаться от оптимизма, быть параноиком и нуждаться в дорогом «лечении» где-нибудь за пределами штата.

Но на практике, даже помня, что одно событие редко становится непосредственной причиной другого, последние происшествия важны для города, для местного духа, они

снижают нашу ценность на рынке. (Иначе с чего бы цены на недвижимость считались показателем национального благосостояния?) Если, к примеру, курс акций здоровой во всех иных отношениях компании, производящей угольные брикеты, резко идет вниз, *компания* реагирует на это со всевозможной быстротой. Ее «люди» после наступления темноты задерживаются на работе на целый дополнительный час (если, конечно, их уже не поувольняли); мужчины возвращаются домой еще более уставшими, чем обычно, цветов с собой не приносят и дольше стоят в фиалковых сумерках, глядя на ветви деревьев, давно уже нуждающихся в опрятной подрезке, с детишками своими разговаривают без прежнего добродушия, позволяют себе перед ужином выпить в компании жены лишний коктейль, а потом просыпаются в четыре утра и обнаруживают, что мыслей у них в голове осталось раз, два и обчелся и ни одной приятной среди них нет. Только тревожные.

Вот это и происходит в Хаддаме, где все вокруг — вопреки упоительности нашего лета — проникнуто новым ощущением бешеного мира, раскинувшегося прямо за чертой города, несчетными опасениями наших горожан, для которых, уверен я, эти чувства так и останутся непривычными: бедняги умрут раньше, чем успеют приладиться к ним.

Печальная, разумеется, черта взрослой жизни состоит в том, что ты видишь, как появляется на горизонте и надвигается на тебя именно то, с чем тебе никогда не свыкнуться. Ты усматриваешь в этом большую проблему, которая жуть как тревожит тебя, ты принимаешь меры, и особенно меры предосторожности, настраиваешься на правильный лад; ты говоришь себе, что должен изменить всю методу твоих действий. Но не изменяешь. Не можешь. Слишком поздно уже, а почему — непонятно. А может быть, все еще и хуже: может быть, замеченное тобой издали — это вовсе не то, что пугает тебя, а его последствия. И то, чьего пришествия ты так боялся, давно уже поселилось тут, рядышком с тобой. Это схоже по духу с пониманием, что никакие великие новые успехи медицинской науки никому из нас пользы не принесут, хоть мы и радостно приветствуем их и надеемся, что вакцина подоспеет вовремя, что все еще сложится ничего

себе. Да только и этот оборот уже запоздал. И жизнь наша закончилась, хоть мы того пока и не знаем. Прошляпили мы ее. А как сказал поэт, «то, как мы упускаем настоящие наши жизни, это и есть жизнь»*.

Нынче утром я просыпаюсь в моем кабинете наверху, под свесом крыши, довольно рано и сразу просматриваю описание недвижимости, которое я озаглавил — перед тем как мы закрылись на ночь — «Эксклюзив»; ничуть не исключено, что уже сегодня, попозже, она обретет сгорающих от нетерпения покупателей. Такие продажи нередко возникают самым неожиданным, чудотворным образом: владелец недвижимости закладывает за воротник несколько «Манхэттенов», обходит после полудня свой двор, подбирая клочки бумаги, принесенные ветром из помойки соседа, отгребаёт от форситии, под которой похоронен его далматинец Пеппер, последние, еще хранящие зимнюю влагу листья (хорошее удобрение), производит тщательную инспекцию болиголова, который они с женой — давно, когда еще были юными молодоженами, — посадили так, что получилась живая изгородь, совершает ностальгическую прогулку по комнатам, стены которых выкрасил сам, заглядывает в ванны, которые он вчера до поздней ночи прихорашивал цементным раствором, пропускает попутно пару стаканчиков кое-чего покрепче, сильно ударяющего в голову, сдерживает крик души, скорбящей о ее давно уж загубленной жизни, — испускать таковые время от времени следует всем нам, если мы хотим жить дальше... И шарах: спустя две минуты звонит по телефону, отрывает какого-нибудь риелтора от мирного семейного обеда, а еще через десять минут дело сделано. Как хотите, но это — своего рода прогресс. (По счастливому совпадению мои клиенты, Маркэмы, приехали из Вермонта как раз этой ночью, и, значит, я смогу замкнуть круг — организовать продажу — в течение всего одних суток. Рекордное время — правда, не мое, равно четырем минутам.)

* Рэндалл Джаррелл (1914–1965), «Девушка в библиотеке». — *Здесь и далее примеч. перев. и ред.*